

МОДЕЛИ БУДУЩЕГО В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Жорж Нива

(...) если у нас нет прошлого, истории, то
что-то должно быть! Что? Будущее!
(Евгений Фёдоров, *Илиада*)

Культура это не только память о предках, но и ощущение будущего, прогноз будущего. Философ Николай Фёдоров, оказавший столь огромное влияние на русскую мысль начала XX века, представляет собой странную смесь скованности мысли прошлым (культ и воскрешение предков) и проекта „регуляции” будущего. Исполнение молитвы „хлеб насущный даждь нам днесь” возможно путём „регуляции метеорических явлений”. Такая регуляция, пишет он в Философии общего дела, обеспечивает необходимое, „запасов делать не нужно”. Такое весьма странное отношение к будущему – явление очень характерное в русской культуре: русский человек хочет быть хозяином будущего, охотно мечтает о далёком будущем, о разных утопиях, о Царстве Божьем как о модели абсолютного будущего, но „запасов делать не нужно”, т.е. нормальная экономическая жизнь, всё, что латинский язык называет словом “*industria*”, осуждается как индивидуальная эксплуатация. „Регуляция метеорических явлений” – проекция в будущее органической, соборной энергии народа... „Это искать естественного, а не искусственного обеспечения от голода.” (Фёдоров 1994: 200).

Перцепция будущего, разные модели будущего стали изучаться сравнительно недавно. По-французски существует многотомный труд Жоржа Пулэ *Этюды о человеческом времени*. Пулэ сначала рисует кривую эволюции перцепции времени у западного христианского средневекового человека. Сначала чувство времени не отличается от чувства бытия. Христианин ощущает себя в мире созданных тварей наравне со всеми другими субстанциями этого мира. Будущее не пользуется никакой привилегией. Средневековый человек находится между разными „длительностями”; он принадлежит как падшему миру, так и надъестественному

миру Божьей милости. Долгое время западный человек спорит о „продолжаемой милости”. Вечно возобновляемый акт Бога нужен, чтобы тварь продолжалась в бытии. Нас удивляют сегодня эти упрямые прения, потому что наша перцепция времени коренным образом изменилась. Бог отступил от процесса времени. Он создал время, но потом оставил время времени, т.е. вторичным причинам. Средние века основывали своё мировоззрение на Аристотеле: процесс бытия шёл от потенции к реальности. После внутренней революции XVIII века процесс опрокидывается. От реальности к потенции. Реальность уже не законченная вещь, а сам генетический процесс возникновения. Человек живёт в полном смысле лишь тогда, когда он вливается в этот процесс. Будущее становится высшей мерой реальности. И лучше всего выражает это новое чувство отец европейского романа XIX века, Бальзак. Бальзаковский герой весь стремится в будущее. Человеческая комедия – огромная поэма о воле, т.е. о будущем, об энергии, проецируемой в будущее. А будущее – это „обетованная земля, куда, взлелеиваемый небесными проблесками, стремится наш взгляд и не сталкивается с горизонтом.”

Бальзаковский герой желает, как учёный мерит, художник рисует, композитор сочиняет. Он весь – желание, он весь проецируется в будущее.

Однако помимо этой почти сверхъестественной способности желать, т.е. переноситься в будущее, каждый бальзаковский герой также учитывает горизонт, который определяет русско-американский историк-экономист Алехсандр Гершенкрон (Gerschenkron 1962, 1968, 1970). В любом обществе, в любой культуре существует некий исторический горизонт, за которым глаз современников не умеет ничего разглядеть. У Бальзака это завоевание салонов Растиньяком, это основание экономической династии или ожидание смерти патриарха-богача и открытие завещания (в конце романа Кузен Понс). Чаще всего горизонт этот распространяется на одну карьеру, одно поколение. Давно замечено, в особенности критиком Морисом Бардеш, что молодые завоеватели Бальзака подсознательно подражают Наполеону. Они хотят прорвать фронт общества, основать новую династию.

Русское восприятие будущего значительно отличается от западного именно потому, что понятие карьеры, понятие социального прогресса отсутствуют, может быть, не полностью и в реальности, но, во всяком случае, в социальном воображении. Проблематику русского будущего рельефно иллюстрируют знаменитые симметрические высказывания Герцена и Боткина: „Спаси Бог Россию от буржуазии!” и „Дай Бог России буржуазию!”. Без груза традиций, богатств, экономического развития Россия свободнее Европы; та „идёт ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза (...) – у нас это искусственный балласт, за борт его – и на всех парусах в широкое море!” (А. Герцен, Предисловие к Письмам из Франции и Италии).

Гершенкрон установил связь между экономической отсталостью России и уклоном её интеллигенции к утопизму, к дальнему и эсхатологическому будущему. „Спаси Бог Россию от буржуазии” – этот возглас Герцена означает отказ от регулярного, капиталистического, кумулятивного социально-экономического развития. Ответное пожелание Боткина, пожелание предвидимого будущего на манер Запада – редкая в России позиция.

В архаических обществах исторический горизонт наглухо замкнут, ибо будущее не может быть ни чем иным, как повторением прошлого. В религиозных обществах – горизонт эсхатологический или сотериологический, т.е. ожидается спасение, Второе Пришествие. В знаменитой книге, опубликованной в 1905 г., немецкий социолог Макс Вебер показал, как у Лютера сочетались и сотериологическое мировоззрение и освящение простого, ежедневного профессионального труда. С одной стороны „мистический союз” с Богом (*unio mystica*), с другой стороны, постоянная забота о труде, о профессии, о простом профанном будущем.

В России такого парадокса не было, хотя со временем старообрядческая жизнь стала приобретать подобные черты. Юрий Лотман выдвинул на этот счёт странную и очень интересную теорию в статье «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры (Лотман 1993: III). В этой статье автор развивает довольно парадоксальную теорию. Определяя магические общества и культуры, он утверждает, что они характеризуются

взаимностью (между шаманом и заклинаемой силой), принудительностью (код акций и реакций зафиксирован), договорностью. Наоборот, религиозные культуры основаны на „безоговорочном вручении себя во власть”; они характеризуются односторонностью (без контракта), отсутствием принудительности и понятия обмана. Нетрудно обнаружить старую славянофильскую концепцию за этой теорией. С одной стороны договор, римское право, предвидимое будущее, даже принудительное будущее (Запад!), с другой стороны односторонняя, свободная отдача себя, дар (государственность на Руси вызывает религиозное чувство „отдачи себя”). На Западе могут быть добрые договоры, как, например, договор святого Франциска Ассизского с волком из Губбио; в России средневековой такой добрый договор невозможен, договор – дело дьявольское. Ср.: „На Руси договор воспринимается как дело чисто человеческое в значении”: «человеческое», как противоположное «божественному».” (там же).

По Лотману, дух договорности проник в русскую культуру XVIII века, но интеллигенция воскресила религиозный дух „отдачи себя” в идее служения свободе, народу, „общему делу”. В статье о Пиковой даме и теме карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века Лотман прекрасно показал также роль карточной игры в психологической жизни русского общества. Некоторые игры – мимикрия по отношению к социальной жизни и воспроизводят социальную игру, социальную иерархию. Другие, азартные игры, наоборот, отрицают любую социальную рациональность и представляют собой как бы поединок со Случаем. Непредсказуемость Фортуны, страшные капризы азартных игр овладели русской душой, поскольку они символизировали капризы русского деспотизма и невозможность предвидеть будущее. Русская литература особенно склонна к апологетической похвале Случая. То есть абсолютно непредсказуемого будущего. Герой Игрока Достоевского говорит: „Неизвестно ещё, что гаже: „русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом.”

Попытаемся выработать понятие „романного горизонта”, исходя из того, как Гершенкрон изучает „исторический горизонт” любого общества. Возьмём несколько примеров и

начнём с Мёртвых душ Гоголя. Горизонт собственников-помещиков, навещаемых Чичиковым, – абсолютный вакуум, не предвидится никакой перемены, календарь остановил свой бег у Манилова, это застылость, вечная повторяемость, крепостническая вечность. А у плута Чичикова ощущение времени противоположно; он весь стремится в будущее, оперирует фикциями (мёртвыми душами), похожими на те фиктивные финансовые „продукты”, которыми торгуют сегодня так называемые *golden boys* Уолл-Стрита. Он олицетворяет вторжение капитализма в крепостническую вечность, но, поэтической силой Гоголя, он сразу же возвышается до крайней капиталистической виртуозности. Никакие неудачи его не смущают, его горизонт – это „фантастика” его прожектов. И он смотрит на себя, как на настоящего труженика на поприще социальной фантастики: „Терпенье, труд! Вещь нетрудная: с ним я познакомился, так сказать, с пелён детских.” (ч. II, гл. 4). Во второй части Чичиков знакомится с человеком, который для него почти идеал: Костанжогло, хозяин-промышленник, умеющий перерабатывать и использовать все отбросы, весь мусор („Это Наполеон своего рода!”). Однако Гоголь очень настоятельно показывает главный порок русского человека: „неумение пользоваться временем, завтрашним днём. „Всё думаешь с завтрашнего дня сядешь на диету; ничуть не бывало: к вечеру того же дня объешься, что только хлопаешь глазами, а язык не ворочается, – как сова сидишь, глядя на всех – право! И эдак все”. Этот паралич, этот „столбняк”, свойственный русскому человеку, отменяет любое будущее. Костанжогло, идеальный хозяин, – лишь чужой, не-русский элемент. А Чичиков мечется между мотом и промышленником. Мануфактура Констанжогло – это иносказательный образ той спасительной мануфактуры душ, о которой мечтает Гоголь. Но она обречена на неудачу.

Обломов Гончарова – просто поэма безгоризонтности. Отношение жителей Обломовки к будущему очень просто: это полный отказ от будущего. Даже не открывают писем. Они блаженствуют в нирване неизменного вечного настоящего. Они напоминают нам картину Брейгеля со спящими крестьянами в знойный полдень. Они существуют

вне всяких временных координат. А обрусевший немец Штольц, олицетворяющий, наоборот, активность, проекцию в будущее, строящий экономические планы, не способен победить обломовскую стихию. Интересно, что в Обрыве Гончаров добавил третье лицо: „русского (а не немецкого) деятеля, лесничего и промышленника Тушина. О нём думает Райский:

В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками, а вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена (ч. V, гл. 18).

Тушин и русский, и практичный. Он – „наша истинная партия действия, наше прочное будущее”, – думает тот же Райский. В России дела нет, а есть лишь „мираж дела”. Обрыв противопоставляет преобладающее мировоззрение Райского, мечтателя, „шедшего за веком” и досадовавшего на „черепаший шаг” прогресса, Тушину, „работнику и хорошему хозяину (он читает учебник по агрономической части, держит сведущего немца, специалиста по лесному делу, слушает его советы, но распоряжается сам). Тушин предвещает дядю Ваню Чехова, он хозяин-мечтатель, человек дела и мечты. В мире Гончарова он явно представляет собой некий идеал, но идеал ограниченный и отвергнутый (Вера его уважает, но не любит). Поединок „обрыва” (тяги к гибели) и „леса” (тяги к добру, малому делу) всё-таки кончается победой „обрыва”. А ведь в переводе на язык упоминаемой статьи Юрия Лотмана это означает преобладание „вручения себя” над „договором”.

Хотя деньги занимают огромное место в романном мире Достоевского, они не играют никакой созидательной роли, а лишь подрывают мир, делают его рыхлым и опасным, подвергают его вечному шантажу, как в Подростке. Нигде у Достоевского нет прочного, хозяйского экономического горизонта. Нет и Тушина. Макар, отец подростка, живёт как птица божья, а Версилов, настоящий отец его, ждёт судебного решения: кому суд отдаст наследство, ему или князьям Сокольским. То есть горизонт – это лишь решение тяжбы, а как только суд решил в пользу Версилова, Версилов благородно возвращает оспариваемое наследство

своим соперникам. Иными словами всё разыгрывается на сцене собственного „я”, экономическая жизнь не имеет никакой прочности. Важны лишь взаимные вызовы друг другу.

О временной структуре мира Достоевского сказано уже много, в особенности у Бахтина. Но с нашей точки зрения важно отметить, что время у Достоевского расторгнуто между двумя полюсами: абсолютным отрицанием всякого разумного будущего (мир равняется Рулетенбургу) и абсолютным эсхатологическим будущим, будущим окончательного спасения, нового чуда в Кане Галилейской. Между этими крайностями нет никакого предвидимого, рационального будущего. Капитализм, власть денег существуют в мире Достоевского, но исключительно как разрушительная сила.

У Льва Толстого временная структура также двойственная, но полюсы совершенно иные. С одной стороны, толстовский мир стремится обратно к патриархальной структуре, к идеалу созвучия между бариним и мужиком (идеалу, воплощённому Ростовыми, но подрываемому дурным хозяйствованием и долгами); с другой стороны, действует у Толстого безличная сила денег („фальшивых купонов”), и она гноит всё общество, причиняет всеобщее вырождение. Толстой прирождённый поэт счастья; а счастье переполняет всё в миг вновь обрётённой гармонии, некой „симфонии” между личностью и миром (Наташа у своего дяди после охоты, т.е. молодая графиня у одичалого барина и его крепостной спутницы). Моменты счастья достигаются отказом, аскезой, как это показывает Воскресение, роман, где излагается экономический план Толстого. Этот план основан на идее Генри Джорджа, что единственный источник богатства – земля, что единственный налог должен быть всеобщая подать на землю.

Концепции Толстого архаичны, в буквальном смысле реакционны, и единственный более-менее рациональный экономический горизонт – это горизонт Левина в Анне Карениной. В III части, в 27-ой главе, Левин обсуждает именно проблему экономического будущего России с двумя знакомыми помещиками вечером после охоты. Один из собеседников утверждает, что в России „всякий прогресс

совершается только властью”. Это один из самых навязчивых тезисов в истории русской общественной жизни, живучий и поныне (его развил в конце „перестройки” покойный ныне Натан Эйдельман в книге Революция сверху). Другой вяло и неубеждённо развивает мысль о прогрессе на западный манер, т.е. рациональном, без принуждения, с помощью банков и найма рабочих. Левин добавляет: „Я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рациональное дело; все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток.” Адвокат прогресса признаёт, что хозяйство его невыгодно: „Это только доказывает, что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты.” На что Левин возражает: „Ах рента! Может быть есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на неё труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного на неё труда, то есть, что её выпашут, стало быть нет ренты. – Как нет ренты? Это закон. – То мы вне закона; рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает.” Итак, Толстой опровергает все западные экономические законы, в особенности закон о прибавочной стоимости. Русский человек не может жить по этим законам; специально выписанный из Петербурга немец нашёл, что рационализированное хозяйство Свяжского приносит лишь убыток (опять немец! без него не обойтись, как только в России речь идёт об экономической реформе). Интересно, что в том же месте, когда Левин обдумывает реформу своего хозяйства (сдать часть хозяйства мужикам, принять участие, как пайщику, вместе с работниками, во всём хозяйстве), приходит ему на ум рассуждение о причинах неприменимости западных экономических законов к России.

Он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства, сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приёмов и что эти приёмы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают.

Другими словами Толстой нашёл объяснение проблеме русской особенности: в России особые отношения времени с пространством. Будущее лишено некоторых определённых черт именно из-за огромности и необработанности

пространства. Когда Левин стал объяснять Ивану-скотнику будущие выгоды, „на лице Ивана выражались тревога и сожаление, что он не может всего дослушать”. Как мы видим, Толстой остро ощущал проблему экономического будущего России, обдумывал именно проблему экономического горизонта, но, в конце концов, отвергал „Кауфмана и Мичели”, т.е. западные концепции и возвращался к неэкономическим концепциям всеобщего братства (Хозяин и работник).

На рубеже XIX-XX веков русская общественность живо обсуждала проблему „образа будущего”. Народнические общинные утопии (М. Гоц, В. Новомирский), анархическая утопия (П. Кропоткин) укрепили тенденцию ко вневременному экономическому мышлению. Лишь первый труд Ленина о развитии капитализма в России, „легальный марксизм” П. Струве или Туган-Барановского эфемерно показывают некий этап „западного” мышления. Но Ленин быстро ушёл в сторону максимализма, Струве обратился „от марксизма к идеализму”, Туган-Барановский был отлучен от социализма, заклеен как ревизионист (Кузьминов 1994). Не так поражает уклон русской экономической и философской мысли к утопии, как уклон к политизированию, к идеологизации и манихейству. При явном экономическом прогрессе Россия начала XX века не имела экономической мысли, связанной с этим прогрессом. Терроризм, война с Японией (а большинство интеллигенции публично желало поражения российских армий), мираж революции, конечно, влекли за собой ещё большее ослабление идеи будущего. Так что русская литература начала века развивается под знаком апокалипсиса. Темы вторжения вражьей силы, „коня бледа”, взрыва бомбы, падения звезды находятся повсюду. Андрей Белый доводит до крайности тему Достоевского о расколоте времени. С одной стороны, время у Белого „кризисное”, доведённое до размельчания, до автономии почти каждой секунды (в романе Петербург), личности распадаются, социальный пейзаж подвергается раздроблению; тиканье бомбы разрушает как общество, так и каждую индивидуальность. Взрыв и брешь на фасаде учреждения: вот всё, что остаётся от общественного фундамента. Даже психическая цельность индивида под угрозой. Параноя ведёт к идиотизму. Темы эти

дошли до нас. Тема „лаза” у Маканина продолжает тему „бреши” у Белого. Бесчисленные дешёвые романы продолжают тему вторжения вражьей силы, осады...

Василий Розанов – блестящий выразитель идеи тупика, идеи конца, конца литературы, жизни, „апокалипса нашего времени”. Для него экономический прогресс – нечто абсолютно нерусское. Это „Штунда”.

Штунда это мечта, «переработавшись в немца», статья, если не «святою» – таковая мечта потеряна – то, по крайней мере, хорошо выметенной Русью, без вшей, без обмана и без матёрщины дома и на улице.

– Несите вон иконы!

– Подавайте метлу!

С «метлой» и без «икон» Русь – это и есть Штунда. Явление это огромно, неуловимо и повсеместно.

Поразительно в этой цитате, что Розанов описывает процесс нормализации жизни в России (конец обмана, выметание сора, моральное очищение) именно как вторжение некой таинственной и вражьей силы. То есть урегулирование жизни, установление норм экономических и социальных осмысливается патологически, явно не без паранойи.

Из великих авторов XX века, наверно, один Александр Солженицын попытался освободиться от этого. В его историческом романе Красное колесо противостоят два начала. Начало разрушительное, колесо огненное, раздавляющее всё разумное и человеческое, и в особенности все четыре основных добродетели по Аристотелю, справедливость, благоразумие, воздержание и мужество. Начало зиждательное, деятельность инженеров-строителей (Архангородский, Ободовский). Эти строители – сторонники „малых дел”, из анархистов они обратились в строителей (по образцу Тихомирова, одного из любимых мыслителей-политиков Солженицына). Тема концепций будущего играет в Красном колесе ключевую роль. Россия давно увлекается идеей „развития через скачок”. Варсонофьев, один из любимых рупоров Солженицына, возражает двум молодым „гегельянцам”: „А государство, оно не любит разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок – это для него

разрушительно.” Однако в анти-эпопее Солженицына, как я уже назвал эту огромную книгу (Нива 1993), разрушение, деконструкция (не наррации, а общества, целого народа) побеждают. Поэму Солженицына можно сравнить с поэмой Гоголя. Гоголь сжёг вторую часть своей поэмы, Солженицын отказался довести до конца свой замысел. Неудача – общий итог этих двух текстов, воодушевлённых грандиозной попыткой „метаной”, коллективного раскаяния.

Наверно, во всех европейских литературах (и в американской) мы можем обнаружить некую двойственность времени, временной структуры и образа будущего. В своём Трактате об истории религий румынский историк Мирча Элиад пишет, что время делится на два типа времени: время сакральное, „нерофанское”, когда человеку кажется, что он через время прикасается к сакральному, и время бытовое, рабочее, будничное. Если сопоставить концепции Мирча Элиада и Юрия Лотмана, я бы сказал, что „русское время” – смесь сакрального времени и религиозного „вручения себя”, а „западное время” скорее смесь бытового времени и модели „магического договора”. В России исторический горизонт не урегулирован ни бытом, ни договором. „Примирение с действительностью” – это в России лишь кратковременный этап, этап переживаемый Белинским, когда он одурманен Гегелем. Отказ от „примирения с действительностью” постоянно затемняет образ будущего в России. Кризисы в России не играют ту умеренно очистительную роль, которую они играют на Западе. Ссылаюсь здесь на знаменитый курс, прочитанный в 1871-72 (по следам франко-русской войны и восстания Коммуны) в Базельском университете Якобом Буркхардтом:

Кризисы – перекрёсток в нашем развитии, они освобождают нас от бесчисленных сил, ставших давно ненужными, но которые нельзя было отвергать вследствие их исторических прав. Кризисы отменяют, уничтожают псевдо-организмы (...). Кризисы также освобождают нас от преувеличенного страха перед переменами; они рождают новые и крепкие личности.

Отметим, что одним из слушателей курса Буркхардта был Фридрих Ницше. Перед Ницше Буркхардт уточнял: „С

условием, что они не полностью разрушительны, кризисы имеют бесспорное значение для искусства.”

По-другому объяснял значение резких перемен французский философ Анри Бергсон. В книге Два источника морали и религии он различает замкнутые и открытые общества. Великие преобразователи и пророки живут в замкнутых обществах и мечтают об открытых обществах, ведут себя как будто в открытом обществе, и поэтому их преследуют и убивают.

В России особенно заметна боязнь кризисов, беспредельных кризисов, полностью разрушительных, и тяга к замкнутости. В 1811 году в Твери историк Карамзин вручил императору свою Записку о древней и новой России, где он выражает свои опасения перед предсмертным „открытием” России, например – преждевременным освобождением крепостных; увеличится эксплуатация человека человеком, лучше сохранить умеренно закрытое общество. Записка Карамзина служит моделью многому, что сегодня пишется в России о будущем. Например, для Александра Зиновьева советское замкнутое общество ограничивало риск, опекало русского человека. Зиновьев или Горенштейн стали выражать глубокую обратную тягу к замкнутости (Горенштейн с иронией и как бы извне, Зиновьев без иронии и с адвокатским рвением). Тирания – главная защита от „кризиса”, от неясности будущего, невозможности договора, отсутствия исторического чёткого горизонта.

Как это ни странно, всё больше и больше выражаются в русской словесности опасения русского человека насчёт недолговечности самой России. От Карамзина до Андрея Амальрика, Александра Зиновьева или Фридриха Горенштейна повторяется этот тревожный вопрос. „Нужна ли будет Россия в XXI веке?” – пишет Горенштейн в романе Место. Столь упорная неуверенность в себе свойственна лишь России. Она часть той патологии образа будущего, о которой мы сейчас говорим.

Как симметрическая патология встречается другая особенность: гипертрофия и обожание будущего за счёт настоящего. В своей книге о „последовательности в истории” Гершенкрон объясняет эту особенность политикой Петра I. Царь был чистым меркантилистом, развивал

торговлю и флот в ущерб земледелию и внутреннему рынку. Таким образом развивается в России, начиная с Петра и в продолжении всего XVIII века, острое напряжение между реальностью и потенциальностью, возникает идея, что Россия богата главным образом потенциальностью и будущее давит на настоящее. Чем нагляднее отсталость, тем больше потенциальность. Экономически это означает возможность просить и брать в долг у развитых стран всё больше и больше. Займы – форма преодолевания отсталости во имя огромного будущего. Идеологически и литературно это выражается в громких одах российских поэтов XVIII века великорусской державе, потом, уже в следующем столетии, в славянофильском мифе, апофеозом которого являются последние тексты западника Герцена: „Мы входим в историю полные энергии в тот момент, когда все политические силы устарели, завяли (...). Интимность с Европой ещё больше убеждает нас в нашей национальности.” Русская интеллигенция жила ипостасью Будущего, будь она русский миф или миф революции. Поэтому русский роман не мог показать тот исторический горизонт на расстоянии одного поколения, который даёт европейский роман, Диккенс или Бальзак. О рыхлости непосредственного будущего, о победе беспредельного в русском образе будущего рельефно пишет Розанов в Опавших листьях:

Жизнь – раба мечты. Перед этим цепким существованием, как рассыпчаты каменные стены, железные башни, хорошее вооружение. Против мечты нет щита, ни копья. А факты – в вечном полинянии.

ЛИТЕРАТУРА

- Gerschenkron, A.
1962 *Continuity in Hisytory*, Cambridge 1962.
1968 *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Cambridge 1968.
1970 *Europe in the Russian Mirror*, Cambridge 1970.

Slavica tergestina 4 (1996)

- Кузьминов, Я. (ред.)
1994 *Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX-начала XX века. Избранные произведения*, М. 1994.
- Лотман, Ю.М.
1993 *Избранные статьи*, Таллинн 1993: I-III.
- Нива, Ж.
1993 *Поэма о разброде добродетелей*, „Континент”, М. 1993: 75(январь).
- Федоров, Н.Ф.
1994 *Сочинения*, М. 1994.